

ИЗ КНИГИ "ГАРМОНИЯ МОМЕНТА" (2009)

Что я такое пишу и о чём –
жанра не знаю и цели.
Лишь бы слова, что струятся ручьём,
больше во мне не болели.

Чёрту сигналил ли мой бубенец,
к Богу ль дорогу мостила?
Лишь бы оно поскорей наконец
кончилось и отпустило.

Не пытайтесь к сердцу их пробиться.
Те, кто здесь, не слышит тех, кто там.
Ведь стихи понятны только птицам,
только лишь деревьям и цветам.

Бог ведь разговаривает светом,
тишиной, росой на траве.
Не ищите у людей ответа.
Море, лес и звёзды – всё ответ.

Любимое дерево звали Берёза.
Был вечер декабрьский жемчужен и розов.
И я, проходя, замерла на пути.
Снежинок кружилось над ней конфетти.

В мерцающем свете фонарного снега
такая была в ней небесная нега,
и лёгкие нити белесых волос
летели, хотели, чтоб ветер унёс.

Я что-то шептала рифмованным словом,
она же – ветвей своих горьким изломом,
но обе шептали мы с ней об одном,
и вечер казался несбыточным сном.

А утром уже по-другому увиден
был облик её, по-дневному обыден,
сливаясь с четою таких же берёз.
Остался во мне он лишь облаком грёз.

Я памятью сердца любила берёзу,
как Маленький принц свою первую розу.
Я знала вечернюю тайну её
и видела в ней что-то очень своё.

Сирень

Нет, она – могла ль я обознаться? –
за год позабытая сирень!
Пахнет так, как будто мне семнадцать,
песнь моя, души моей шагренё!

Обрывая звёздочки желаний,
сокращаю наш короткий век.
Молодость жива ль ещё, ушла ли? –
дай же мне сиреневый ответ!

Так же бело-розово-лилова...
Я ищу в тебе, не находя,
счастье – пятизвёздочное слово,
чтобы так же и свежо, и ново,
соткано из неба и дождя.

Вот он, мир мой невещественный,
необщественный, смурной.
По нему я путешествую
за щеколдою дверной.

Жизнь с годами упрощается,
ибо то, что нужно мне,
всё свободно умещается
на столе, в окне, во сне.

Там такие спят сокровища,
как в пылинке дальних стран...
Сокровенное утробе
для зализыванья ран.

Смотрю в штукатурное небо...

В.Ходасевич

Зеркало – открытое окно
в узкое домашнее пространство.

Вижу штор задёрнутых сукно,
скудное постельное убранство.

Неуют холодного угла,
лампочки, скрипучих табуретов,
но зато есть ящики стола,
где хранится множество секретов.

Мыслей, заморочек, заковык,
что рассортированы подушно:
страшные – задвинуты в шкафы,
страстные – таятся под подушкой.

Зазеркалье с видом на жильё,
раковина, капсула, шкатулка.
Небо штукатурное моё,
где, как снег, слетает штукатурка.

А в башне из слоновой кости
нет места суете и злости.
Неважно там, какой здесь век.
И жить уж потому не скушно,

что есть Лиснянская и Кушнер,
Лариса Миллер, Таня Бек.
Меня так мало в настоящем.
Я там, где ищем и обрящем,

где каждый каждому вручён.
А здесь – тупая боль разлуки,
Сизифа труд, Тантала муки
и умиранье над ручьём.

И не центр, и не окраина.
А за блочную стеной
виден двор мой неприкаянный
под холодной луной.

Вместо старенькой акации,
раньше радовавшей взор –
куст с обрубленными пальцами,
словно рана и укор.

Стройка начата и брошена,
кран маячит в небесах.
Я от мира отгорожена,
словно здание в лесах.

День

День неспешно зачинается.
Я ему пока никто.
Даль чуть брезжит, разгорается,
как в туманностях Ватто.

Он ещё пока на вырост мне,
он просторен и широк.
На невидимом папирусе –
иероглиф недострок.

Будет день с его обновами,
будет пища и питьё,
будет дом, где оба снова мы,
наше нищее житьё.

Полдень обернется вечером,
утишая шум и гам,
и спадёт жарой доверчиво
шёлково к моим ногам.

А в каком отныне ранге он –
этот день зачтётся мне
прилетевшим свыше ангелом
в полуночной тишине.

Показалось – просвет, оказалось – пробел или прочерк.
Нам себя отыскать – всё равно что иголку в стогу.
Дождик косо летит, словно чей-то невидимый почерк.
Что-то пишет судьба на роду, а прочесть не могу.

И от этого как-то сегодня особенно горько.
Расплывается в стёклах очков непонятный узор.
Видно, я недостаточно всё же ещё дальнорка,
чтоб прочесть в небесах предназначенный мне приговор.

Сквозь года сумела пронести
фразу из какой-то киноленты:
«Главное на жизненном пути –
уловить гармонию момента».

Я всю жизнь ловлю её, ловлю,
отделяя зёрна от половы.
Мне она – как парус кораблю,
как губам – единственное слово.

Пусть подчас печален жизни блюз, –
с каждым днём звучит она крещендо.
Я своей гармонией упьюсь,
я добьюсь счастливого момента!

Чёрную земную полосу
замену на неба просветлённость,
а свою зелёную тоску –
на вечнозелёную влюблённость.

Вдруг вспыхнет фотографией: семья.
Накрытый стол. Картошка, хлеб и масло.
Родители и крошечная я.
Смотри скорей, покуда не погасло!

Но комната тускнеет и дрожит,
просвечивая, словно через марлю.
Ищу, ищу свою былую жизнь
и, как в кармане, роюсь в снах и карме.

А кадрам киноленты всё бежать,
скрываясь где-то там, за облаками.
Напрасные попытки удержать
их грубыми телесными руками.

И всё ж, законы времени поправ,
я вырву из гранитного зажима
тех, кто ходили среди этих трав
и были живы неопровержимо.

Они, всему на свете вопреки,
безвыходные сменяют на входные

и выплывут из мертвенной реки –
нетленные, бессмертные, родные.

Отцу

Листья падают – жёлтые, бурые, красные – разные.
Все когда-нибудь мы остаёмся на свете одни.
Одиночества можно бояться, а можно и праздновать.
Я иду на свиданье с тобою, как в давние дни.

Я иду на свиданье с собою – далёкою, прошлою.
Вон за тем поворотом... туда... и ещё завернуть...
И хрустит под подошвами пёстрое кружево-крошево,
как обломки надежд и всего, что уже не вернуть.

Не встречается мне. Не прощается. Не укрощается.
В чёрном небе луна прочитается буквою «О».
Не живётся, а только к тебе без конца возвращается.
Одиночество. Отчество. О, ничего, ничего...

Чужой мобильник, брошенный в траву,
звонит, звонит кому-то в синеву.
И мне казалось, это зов оттуда,
сюда, ко мне взывающее чудо.

Я наклонилась над лесной травой.
Ты звал меня, незримый, но живой.
Но не посмела клавишу нажать я...
И радуга висела как объятье.

Прохожие оборачивались тобой.
Я не подхожу, так как знаю, что невозможно.
Ты – через пропасть – не ты. Как любимый – любой.
Через тире – как преграду, границу, таможенно –

рвусь я к тебе, но не в силах их преодолеть,
память, и зренье, и душу безжалостно раня.
Вот ты опять – и, прорвав заградинную клеть,
птица любви вырывается в космос бескрайний.

Маме

Мы теперь никогда, никогда не расстанемся,
я уже от тебя никуда не уйду.
Пусть столетья пройдут, в преисподнюю канет всё –
всё в 2005-ом осталось году.

Жизнь-растратчица здесь оказалась запаслива,
не подвержен инфляции свод голубой.
И за то, чтоб была я хоть изредка счастлива,
всё с лихвою заплачено было тобой.

Я к тебе приближаюсь по возрасту лестнице,
ну а ты уже больше не будешь стареть,
и когда-нибудь станем подружки-ровесницы,
(если Бог до того мне не даст умереть).

Мне иконами служат твои фотографии,
мне стучат от тебя телеграммы дожди.
Я спешу к тебе, мама, по сонному гравию.
Ты дождись меня, главное, только дождись.

То утро занималось без тебя.
Мне кажется, была б рука в ладони –
её тепло прожгло бы, прорубя
дыру в ночи, которой нет бездонней.

Лазейку, створку, маленькую щель,
куда б могла к тебе просунуть кудри.
Ты слышишь, мама, как рыдает дочь?
Увидь меня в своём загробном утре!

Словно дети в предвкушенье чуда:
«Ёлочка, зажгись!» –
так и я, взыскуя весть Оттуда:
«Мамочка, приснись!»

Чуточку терпенья и везенья –
будет встреча вновь.
Будет Рождество и Воскресенье,
Радость и Любовь.

Сон

Мне приснился чудный сон о маме,
как мираж обманчивых пустынь.
Помню, я стою в какой-то яме
среди могил зияющих пустых

и ищу, ищу её повсюду...
Вижу гроб, похожий на кровать,
и в надежде призрачной на чудо
начинаю край приоткрывать.

А в груди всё радость нарастала,
тихим колокольчиком звеня.
Боже мой, я столько лет мечтала!
Вижу: мама смотрит на меня.

Слабенькая и полуживая,
но живая! Тянется ко мне.
Я бросаюсь к ней и обнимаю,
и молю, чтоб это не во сне.

Но не истончилась, не исчезла,
как обычно, отнятая сном.
Я стою на самом крае бездны
и кричу в восторге неземном:

«Мамочка, я знала, ты дождёшься,
ты не сможешь до конца уйти!
Что о смерти знаем – это ложь всё,
это лишь иной виток пути...»

И меж нами не было границы
среди небытия и бытия.
Ты теперь не будешь больше сниться,
ты теперь моя, моя, моя!

Я сжимала теплые запястья,
худенькие рёбрышки твои.
О, какое это было счастье!
Всё изнемогало от любви.

Бог ли, дух ли, ангел ли хранитель
был причиной этой теплоты,
как бы ни звалась её обитель,
у неё одно лишь имя – ты.

Тучи укрывают твои плечи,
ветер гладит волосы у лба.
Мама, я иду к тебе навстречу,
но добраться – всё ещё слаба.

И в слезах я этот сон просила:
умоляю, сон, не проходи!
Наяву так холодно и сиро.
Погоди, родную не кради!

И – проснулась... Из окошка вешним
воздухом пахнуло надо мной.
Я была пропитана нездешним
светом и любовью неземной.

Счастье это было всех оттенков,
мне на жизнь хватило бы с лихвой.
Я взглянула – календарь на стенке.
Подсчитала: день сороковой.

Плюс четыре долгих лихолетья,
как судьба свою вершила месть.
Но теперь я знала: есть бессмертье.
Мама есть и будущее есть.

Снилось, что стою я у черты,
за которой в призрачном тумане
проступают милые черты
и зовут, и за собою манят.

Я кидаюсь к маме, как в бреду,
только вид её меня пугает.
Что-то на тарелку ей кладу,
а она её отодвигает.

Почему бледна и холодна?
Где её весёлая повадка?
Почему безмолвствует она?
И гоню ужасную догадку.

Я на пальцы мамины дышу,
каждый согревая, как росточек,
и в смятенье вдруг произношу:
«Может быть, шампанского плоточек?»

Словно я закинула блесну,
замерев над омутом тревожно.
И она, улыбкою блеснув,
озорно ответила: «А можно?»

Вызов смерти через все нельзя!
Возвращенье к прежней, что была ты,
в этой фразе всю себя неся,
как в поле домашнего халата.

Всё больней, сильней и горячей
твое сердце снова рядом билось.
Через толщу слёзных дней-ночей
наконец-то ты ко мне пробилась!

Пусть сто раз сомнамбулой очнусь,
схоронив развенчанное чудо,
пусть совсем однажды не проснусь,
я теперь навеки не забуду,

как назло болезни и врачу,
озорно, лукаво и отважно
говоришь: «Шампанского хочу!»
Остальное всё уже неважно.

Нет с этим городом связи обратной.
Адрес размыт на конверте пустом.
Не осчастливиться вестью отрадной.
Где он теперь, твой неведомый дом?

Мама и смерть – это несовместимо!
Как затесалась она меж людьми –
смерть – отвратительный, неотвратимый,
неумолимый соперник любви?!

Только однажды над чёрною ямой
чуть приоткрылись завесы края.
Сон мне приснился: записка от мамы.
Буквы теснились, разгадку тая.

Жадно хватаю... родимые строчки...
Что-то мне хочет сказать, объяснить...
Но ускользает их смысл в заморочки,
рвётся в руках Ариаднина нить.

Сопротивлялись слова мне, слипаясь,
рамка письма им казалась тесна.
Чувствую – боже мой, я просыпаюсь!
Чья-то рука меня тащит из сна.

Тайна нетронута в небе витала
и не давала мне грань перейти.
Но изловчилась я и прочитала –
крупными буквами: «ВСЁ ВПЕРЕДИ».

Что впереди, если сомкнуты вежды?
Что впереди, когда всё позади?!
И – озаренье: то был код надежды,
что к твоей снова прижмусь я груди.

Всё впереди, – повторяла упрямо.
Что мне косая теперь и погост?
Всё впереди. Мы увидимся, мама!
Я ухватила жар-птицу за хвост.

Спи, дорогая. Забудь про былое.
Над одуванчиком кружится шмель.
Я постою над твоим изголовьем
и попрошу, чтоб никто не шумел.

Вслед за звёздным сорвавшимся высверком
чьей-то жизни прервется глава.
Между теми, кто жив, и меж призраком
одинокие встанут слова.

Грузом каменным в сердце несомые...
Ночь, прошу тебя, память не мучь!
Но наводит мне вечность бессонная
в душу лунный рентгеновский луч.

*Бог сохраняет все. Особенно слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.*

И.Бродский

Всё, от потери чего мне
легче бы было не быть,
что так мучительно помнить
и невозможно забыть,

всё, по чему тосковала,
ночью кусая рукав,
всё, что давно миновало,
холодом тело сковав,

всё, что все годы мне снилось,
прахом истлевши в золе,
всё навсегда сохранилось
в небе, в душе и в земле.

Незаметно влетела в окошко
и кружит уже несколько дней.
Эта странная тихая мошка
что-то знает о маме моей.

Жизнь и смерть – лишь условные сплётыв,
как писала Марина в письме.
Я тревожно слежу за полётом, –
что-то хочет сказать она мне?

Всё спускается ниже и ниже,
в лёгких крылышках пряча ответ:
«Брось премудрость заёмную книжек,
я оттуда, где воля и свет!

Распахни же закрытую раму,
где весенняя зреет трава,
где пьянеешь от птичьего гама...»
Так когда-то твердила мне мама.
И была она, в общем, права.

Я хлеб крошу воробушкам –
то манна им от Бога.
Голодные утробушки
насытиться не могут.

Второй украл у первого,
а третий – у второго...
Судить их нашей мерою?
К ним жизнь и так сурова.

Полным-полна коробушка,
и хватит этих крошек

для каждого воробушка.
Люблю я этих крошек!

Дворник кошку ласкал и лелеял,
невзирая на смех дурачья.
Млела та у него на коленях.
Одинок был, а кошка ничья.

Заскорузлой ладонью-лопатой
гладил голову ей и брюшко
и светился улыбкой щербатой
от ужимок её и прыжков.

Только как-то проснулась я в страхе
от звериного крика в ночи.
Грызлись в драке цепные собаки,
кошку ту невзначай замочив.

А наутро растерзанный трупик
дворник молча лопатой поддел
и отнёс за железные трубы,
и глядел на него, и глядел.

Был участок травы этот красен,
и, не нужный уже никому,
он стоял – безобразен, прекрасен,
изваяньем застывший Герасим,
потерявший родную Муму.

Есть место у конца вон той аллеи,
где дерево растёт наискосок.
Люблю смотреть, как вечер там алеет,
ворона треплет брошенный кусок.

Другие – никогда не отнимают
при этом, это вам не воробьи,
а трапезе счастливицы внимают
и молча смотрят на руки мои.

И мысль мелькнула – впрочем, это глупость, –
мол, мясом я ворону подкуплю,

чтобы она прокаркала не грубость,
а что-то вроде: «Я тебя люблю».

В.Музалевской

– Любите козье ли Вы молоко?
– Кто это? Не понимаю...
В общем, люблю. – Рассмеялась легко.
– Так подходите к трамваю.

Чуть запыхалась. В спортивных штанах.
Взмокшие светлые прядки.
– Это для Вас: сельдерей, пастернак.
Свежее, только что с грядки.

И молоко из-под собственных коз...
Сумку взяла я, балдея.
Недоуменья счастливый вопрос:
– Кто Вы, прекрасная фея?

Ступор растаял в улыбки лучах.
Ангелы в небе парили.
– Мы прочитали с семьёю «Очаг».
Вот и... отблагодарили.

Первых похвал отошел уж наркоз,
но, и воюя с рутинной,
благословляю неведомых коз,
что нас свели с Валентиной.

Листая как-то книжку, нахожу
обёртки от давнишних шоколадок.
И в памяти счастливо ворошу, –
как детства вкус пленителен и сладок.

Таких уже названий даже нет,
и нет родных, что мне дарили сласти.
Остался в книжке их бумажный след,
обёртка, под которой было счастье.

Закладки детства бережно хранить...
Счастливым фантом станет этот фантик.

А если и прервалась где-то нить –
ты сможешь вновь связать её на бантик.

Была роскошной кукла дорогая
и разодета по последней моде.
Она с улыбкой светской, не мигая,
надменно восседала на комод.

Смотрела – как оказывала милость.
Она меня, казалось, презирала.
И я её невольно сторонилась
и никогда с той куклой не играла.

С курчавою играла негритяжкой,
казавшейся обиженной и слабой,
с солдатиком, отлитым из жести,
и с мишкой с оторванной лапой.

Я вспомнила об этом, наблюдая
за девочкой из нашего подъезда.
За ней собака бегала худая
и хвостиком махала ей облезлым.

Как ликовала рыжая дворняжка,
в то, что любима, искренне поверя...
Но девочка под носом у бедняжки
безжалостно захлопывала двери.

А утром я её встречаю снова –
выгуливает пуделя в аллее.
«Я вижу, у тебя питомец новый.
А где же та?» – «А эта – красивее».

Дворняжка та с поломанною лапой,
Ободрана...» Из рук упали сетки.
И я не знала, как заставить плакать
пустое сердце маленькой эстетки.

Солнца луч проблеснёт в тумане
и уйдёт в облака, скользя.
Жизнь – витрина, блестит и манит,
только взять ничего нельзя.

Мне не выиграть по билету,
не пристать к другим берегам.
Неудача бежит по следу
и прислушивается к шагам.

Чтобы сбить негодяйку с толку,
я схвачу по пути такси
и петлять буду долго-долго
по раскисшей весной грязи.

Обведу её вокруг пальца...
Но опять она тут как тут!
Говорит: «Не зарься, не пялься.
Ничего тебе не дадут».

Переходят улицу судьбы
только по команде светофора.
Но меня не жалуют столбы,
где зелёный будет – ох, нескоро.

Мне его дождаться невтерпёж.
Светофоры – словно офицеры:
«Стой! Назад! Не двигаться! Умрешь!»
Лучше уж команда Люцифера.

Я с зелёным светом не в ладу.
Он и подмигнёт когда – обманет.
Зелень на столе или в саду,
только вот не водится в кармане.

Жёлтый ожидания горит.
Мир застыл в тоске однообразной,
словно кто скомандовал: «Замри!»
Только я опять рвану на красный.

Частушка

Лыком шитые писатели
по прозванию АСП
прописались в хрестоматии,
славу подарив себе.

И живут – не дуют в ус они,
ведь сбылись златые сны!

Ай да Пушкины-Амусины,
ай да сукины сыны!

Сытое нарядное веселье.
Каменных заборов череда.
Там пируют во дворцах отдельных
новые над нами господа.

Там они тусуются, жируют,
пьют вино, похожее на кровь,
наши жизни походя воруют,
что идут в камины вместо дров.

Над чертогом гордо реет знамя,
освящая право убивать.
Как тому, что сделали вы с нами,
радоваться можно, ликовать?!

На обломках рухнувших империй
среди прерий вырос новый век.
Люди, люди, нами правят звери,
что не знают жалости вовек.

Сбросьте человеческое обличье!
Пусть проступит хищника оскал,
чтобы тот, кто помощи в вас ищет,
никакой надежды не алкал.

Родина

Я Родину свою не покидала.
Она же, только пальцем помяя,
как ротозея – рыночный кидала,
покинула и кинула меня.

Ну кто я, право? Птичка-невеличка,
чтобы меня заметить из трущоб.
Ношу пальто с нашивкой «Большевичка»,
что в прошлом веке куплено ещё.

Но связаны невидимою нитью,
колодной цепью общою в судьбе.
Пусть не могу эпоху изменить я,
но я могу не изменить себе.

Угрюм-река. Угрюмые манеры.
Как земляные черви – земляки.
Но что мне ваше Рио-де-Жанейро!
В Гадюкино хочу и Васюки.

А Родина, как из неё ни драпай,
вернёт назад в родимые грязя,
став мишкой с оторванной лапой,
которого нам выбросить нельзя.

Муж бьёт жену наотмашь по лицу.
Она летит и падает внизу.
На лестнице лежит вниз головой.
И видно, что всё это не впервой.

Он поднимает женщину рывком
и снова бьёт по скуле кулаком.
Прицельнее ударить норовит.
Лицо в крови и лестница в крови.

Кричу в калитку: «Вызову ОМОН!»
Приехал он, но скоро вышел вон.
Взирал из окон равнодушный дом.
Ничья душа не обожглась стыдом.

Сын вышел из сеней. Зовут Борис.
Небрежно кинул тряпку: «На, утрись».
Пошла, хромая, ссадины смывать.
Муж с храпом завалился на кровать.

Не рухнул мир. Не рухнул потолок.
«Да, и такой, Россия...» – пишет Блок.

Люблю не странную уже –
шизофренической любовью –
ту, с кем эдем и в шалаше,
ту, что мне дорога любовью.

И эту ширь, и эту грязь,
и дуновения миазмов,
с чем с детства ощущаешь связь
до тошноты, до рвотных спазмов.

Но что взамен? Но что взамен
вот этой вымерзшей аллеики,
родных небес, родных земель,
родной кладбищенской скамейки?..

Сколько любви похоронено
в этих пустынных местах!
Два силуэта вороньего
на деревянных крестах.

Как я хотела бы тоже здесь
рядом с родною лежать,
наше единство и тождество
пестовать и продолжать.

Может, что было кровинкою,
чем я жила, не ценя,
сквозь эту землю травинкою
снова обнимет меня.

Хорошо, что мёртвые не плачут.
Если б разрешили им грустить –
то потоки влаги той горячей
землю всю могли бы затопить.

Провожаем в небе крики чаек,
созерцаем серебристый плёс...
А быть может, мы не замечаем,
что живём под облаком их слёз?

На кладбище Воскресенском прилюдно –
был праздник 9 мая, весна –
бежал за мною котёнок приبلудный
так, словно он хорошо меня знал.

Он в спину ко мне обращал свои зовы,
мяукал, бежал, выбиваясь из сил.
И были глаза у него бирюзовы,
такие, как брат мой когда-то носил.

«Забытый на крейсере плакал котёнок», –
всплывут Маяковского строчки во мне.

Есенинский глупый смешной жеребенок,
стремившийся тщетно к железной спине...

Котёнок играл у меня на могиле,
цеплялся за грабли, валялся в траве.
А я обращалась к Всевидящей Силе,
следившей с улыбкой за мной в синеве.

И чудилось мне, жеребёнок догонит,
котёнок спасётся, поэт не умрёт.
И брат бирюзово смотрел из бегоний,
в улыбке кривя свой мальчишеский рот.

Фетровая шляпка. Узкий ботик.
Волосы уложены волной.
Мне приснилась бабушкина тётя,
никогда не виденная мной,

что исчезла навсегда из вида
на невесть каком краю земли,
с именем красивым Ираида,
в честь которой маму нарекли.

Вот она возникла из тумана –
тайны века, призрачные дни...
Вынул месяц ножик из кармана –
и не стало пол моей родни.

Где была ты, тётя Ираида,
талая вода на киселе,
когда нам усатый злобный ирод
делал лучше жизнь и веселей?

Из глухих соседских недомолвок,
из ночного шёпота: «молчи!» –
выплывал твой образ – зыбок, робок,
сгинувший в карлаговской ночи.

Смутное, летучее виденье,
стрекозиных крылышек слюда...
Проскользнула легкокрылой тенью,
не оставив ботиком следа.

Где твой прах развеян – кто же знает?
Муфта, шляпка, валик надо лбом.
Чем-то мне тебя напоминает
облако в просторе голубом.

Вскрик тревожный полуночной птицы.
Яблок стук – в засыпающий сад...
Кто-то просится, в сны к нам стучится,
кто-то хочет вернуться назад.

Взмах волны в обезлюдевшем море,
пенный всплеск молока на плите,
иероглиф в морозном узоре
и таинственный скрип в темноте...

Кто-то хочет прорваться сквозь полночь,
сквозь леса, частоколы засад,
заклинает: «Увидь меня, вспомни!»
Кто-то хочет вернуться назад...

Но следы заматают метели,
подступающий сумрак колюч.
Дверь забита, замки заржавели,
умер сторож и выброшен ключ.

Много пышных веток и листвы
чаще у подножия деревьев,
а чем выше к небу, тем – увы! –
реже и беднее оперенье.

Ближе к небу – значит, холодней...
Это плата за полёт высокий.
Чем мы дальше от своих корней –
тем слабее жизненные соки.

Дерева верхушка – что аскет,
одержимый высшею идеей.
Так к концу редет жизни цвет
тех, кто уж о жизни не радеет.

Ближе к почве – поросль листа,
есть чем обогреться и укрыться,

а верхушки мачта – как мечта,
та, которой никогда не сбыться.

Дерево, куда? Как птица – влёт...
Жизнь, за что? Оно не виновато.
Одинокий ястреба полёт
в высь, откуда нет уже возврата.

Вырубают деревья. Дебильные мачо.
Им команды даёт деловой нувориш.
Вырубают деревья. И Саши не плачут,
а Раневские вновь укатили в Париж.

И опять глухота обступает паучья.
Мы в обнимку с акацией воем вдвоём.
Вырубают деревья. Корявые сучья,
словно пальцы, цепляются за окоём.

Бумерангом отдастся – родимое ранить.
Потемнеет в глазах от обугленных пней.
Вырубается всё. Обрубается память.
Оголённые нервы загубленных дней.

О, Ламарк о таких и не ведал провалах!
Вся Россия легла от того топора.
Сиротливое светится небо в прогалах,
как пустая душа городского двора.

Будем жить под удары дикарского бубна,
убивая леса, набивая суму.
И тарашатся глупые круглые клумбы,
ничего не суля ни душе, ни уму.

Как красивы деревья – все, без исключения,
даже голые, высохшие и искривлённые.
В них дремучая прелесть и тайна свечения –
будь то жёлтые, белые или зелёные.

Как причудливы эти летящие линии,
устремлённые в небо обетованное,
меж ветвей оставляя лоскутики синие,
чтобы ими мне душу залатывать рваную.

*Я знаю, что деревьям, а не нам
дано величье совершенной жизни.*

Н.Гумилёв

О грозное царство лесное,
мой храм и собор!
Сметая с души наносное,
слетает убор

с деревьев, оставив без грима
в прожекторах дня.
И, кажется, кто-то незримо
глядит на меня.

Разве что косноязычный сон,
да и тот не в руку,
намекнёт на таинство высот
за пределом круга,

на возможность инобытия
за земною кромкой,
только бы хватило мне чутья
разгадать шифровку.

Вы меня из яви не достанете, –
я усну и уплыву туда,
где гоняет ветер волны памяти
и горит заветная звезда.

Там туннели улиц не запружены,
и, легко меняя виражи,
я плыву, как перышко, погружена
в странную сновидческую жизнь.

Там, за безымянными деревьями,
где потоки ласковой воды
унесут туда, где чудо с перьями,
унесут от горя и беды,

за родными мертвыми скитальцами,
что теперь безмерно далеки.

Строки, их написанные пальцами,
наплывают на черновики.

Из краёв греха и одичания –
в вотчину родимого лица...
Снится мне живая, беспечальная
вечность без начала и конца.

Это мой любимый вид общения –
общество безмолвных визави,
где одно сплошное сновидение,
непрерывность встречи и любви.

Мне привычны печаль и отчаянье,
только есть ещё деревце,
что хранит все молитвы и чаянья,
чтоб могла я надеяться.

В этой чуткой и ласковой кроне я
по ладошкам с прожилками
различаю щемящее, кровное
с роковыми ошибками.

Всё моё – потому и жива ещё –
перешло в это деревце, –
лепет родственный уст остывающих,
нерождённого первенца.

Тени милых в той кроне хоронятся,
новый облик нашедшие.
А нормальные люди сторонятся,
говорят: «сумасшедшая...»

*Таинственна ли жизнь ещё?
Таинственна ещё.*

А.Кушнер

А к выборам зажгли фонарь
у моего окна.
В стихе: «Живи один, ты царь...»
Но с ним я не одна.

Когда гашу я в кухне свет,
к стеклу прильнув щекой,

мне в листьях слышится привет,
серебряный покой.

Волшебный отсвет вспыхнет вдруг,
начав иной отсчёт,
и, кажется, что жизнь вокруг
таинственна ещё.

В окно гляжу я, как в бинокль,
и вижу всё, как встарь.
Никто не будет одинок,
пока горит фонарь.

Фонарь забыли погасить.
Как он нелеп при свете дня.
Но он висит, но он висит
и молча смотрит на меня.

Кому горит так ярко он?
При солнце свет его напрасен.
Он неуместен и смешон,
и, несмотря на всё, прекрасен.

Фонарь, фонарь, ты офигел,
где ночь твоя и где аптека?
Быть может, ты, как Диоген,
упорно ищешь человека?

Ты не найдёшь его в миру,
душ освещаая пепелище.
Фонарь, я здесь не ко двору,
возьми меня в своё жилище.

Хочу дневной звездой гореть,
как Тютчев некогда мечтал.
Хочу, как ты, офонареть,
когда всё это зреть устал.

На пути каких людей ни встречу я –
разные миры, язык, наречия.
И отныне всех, кто в том повинны,
разделяю на две половины.

У одних – приход, расход и акция,
капитал, процент и облигация,
у других – иное измеренье:
жизнь и смерть, страданье, свет, горенье.

Пока писала я сонеты –
сгорели на плите котлеты,
пропали в оперу билеты,
сменялся вечер новым днём,

но ничего не замечала,
покуда лирою бренчала,
прочту – начну опять сначала,
и всё гори оно огнём!

Пока слагала я поэмы –
завяли в вазе хризантемы.
Кому печаль мою повем я?
Чем искуплю сии грехи?

Но – остановлено мгновенье,
но – уничтожено забвенье,
пусть сдохну я от вдохновенья,
зато останутся стихи!

«Этот сборник никогда б не вышел
без неимоверного труда...
Дарованье, посланное свыше...
Яркая поэзии звезда...»

И так дальше – несколько абзацев
из статьи, перечасей уму,
знатока – где надо подлизаться,
подсюсюкнуть вовремя кому.

«Редкий дар! – сказать умеет громко
он о тихом шепоте дождя...» –
о стихах, выстреливавших пробкой
из глупца с замашками вождя.

Что же это? Сослепу иль сдуру?
Во спасенье ложь? Любви слеза?

То входной билет в литературу!
Подлизал – порядок! – пролезай!

Терпеливо выдержу нападки,
если они искренни, без лжи,
как слова бы ни были несладки –
если заблуждение от души.

Я прощу враждебнейшие речи,
едко-саркастичные тона,
даже явной глупости отвечу,
если будет честною она.

Но своё безмолвное презренье
брошу я ничтожеству в лицо,
кто из жалкой зависти к горенью,
обнажив утробное гнильцо,

из желанья опорочить имя,
собирая компроматный бред,
прячась в оперенье псевдонима,
свой в итоге выведет портрет.

Гадкий утенок не станет лебедем,
Золушка не превратится в принцессу.
Очарованье в сказочном лепете
в жизни другому уступит процессу.

Гадкий утёнок устанет надеяться,
Золушка сгинет в мечтах запредельных.
Так-то вот, добрые молодцы-девицы.
Сказки – отдельно, реальность – отдельно.

Ангел снега прилетел
в белоснежном оперенье.
Отделение душ от тел,
воспаренье, воспаренье.

Всё пройдёт и отболит.
Снег всё сгладит и отбелит.
Небо облаком молитв

укрывает нас от битв
и качает в колыбели.

Предлагаю я пример тебе простой:
умножаю свет на темень, ночь на день.
Получаю светлый сумрак под чертой,
фиолетово-лиловый, как сирень.

Чтоб сливались все границы и черты,
чтоб не видеть, где земля и где вода,
чтобы в «мы» переходили «я» и «ты» –
да и нет не говорите никогда.

Пешеход я, господи, плебей.

А. Кушнер

К чёрту белого коня!
Принц мой пеший, косолапый.
Солнце на исходе дня,
ночь крадётся тихой сапой.

К чёрту форд и кадиллак,
у тебя права иные –
на меня, на жизнь дотла
от истока и доньне.

Не поймёт ни конь, ни люд,
не поймут автомобили,
как любила и люблю,
как друг друга мы любили.

Сладок вместе хлад и зной,
ведь осталось так немножко.
Обнявшись, идём одной
пешеходною дорожкой.

Золотая светлая печаль.
Далеко до изморози, грязи.
Нас с тобою август обвенчал.
Не бывает родственнее связи.

Помнишь, как стояли под дождём,
укрываясь кроной золотою?
Наш союз, казалось, был рожден
той благословенною водою.

Гром звучал торжественнее месс,
молния пронзить сердца пыталась,
и каким был замысел небес –
так легко в глазах твоих читалось...

Тождество дождливых капель,
пляска плеска, торжество.
Танец струй, как танец сабель,
с диким племенем родство!

Я лечу, раскинув руки,
под небесный тёплый душ,
в рук твоих спасаясь круге –
тождество продрогших душ.

Как мы шли с тобой по тёмным улицам,
за руки держась, как дети-умницы.
Расступалась перед нами ночь,
чтобы оберечь или помочь.

Улица всё эта не кончается,
тем не позволяя мне отчаяться.
Освещает путь её луна.
Никогда не кончится она.

И я верю, знаю, – и поныне мы
где-то так идём под новым именем.
Освещают улицу огни.
Мы с тобой сливается в они.

А я опять – о личной жизни,
такой далёкой от отчизны,
но близкой каждому, кто был
на этом свете и любил.

А я опять – о том же самом,
наперекор ханжам и хамам,

о сокровенном, дорогом
и осуждённом дураком.

Не о житье самцов и самок –
о том, что губит, словно амок,
о том, что мучает и жжёт
и этим душу бережёт.

Не потому ль – не заграничной –
Россия стала жизнью личной,
и весь наш шарик голубой
стал личной жизнью и судьбой.

Н.Кравченко – автор дюжины сборников...

Из заметки критика

Лягнул непринуждённо и легко
(и в самом деле! «Дюжина»! Не много ль?)
и сразу оказался далеко,
как будто в перевёрнутый бинокль.

Я понимаю – клан диктует стиль.
Но как же жить с таким тяжёлым грузом?
Друг оказался вдруг за сотни миль –
недюжинным предателем и трусом.

Ты не подходишь нам.

Чем не подходишь? Словом.

А.Кушнер

Ворон ворону глаза не выклюет,
а не ворон – другой разговор.
И прокаркает он, словно выблюет:
«Слог не тот и не тот коленкор!»

Слишком прям – это стаей подмечено,
и не в масть воронову перу.
Что-то чуждое в нём, человеческое...
Nevermore!* Нам он не ко двору».

*Никогда (англ.)

Но что-то из души, пронзённой жалом,
вдруг выпало, как ключик из пальто.
А раньше так надёжно там лежало...
Но что же это было? Что же? Что?!

И вот хожу и чувствую потерю
в душе, образовавшей решето.
Неужто есть, кому ещё поверю?
Но кто же это будет? Кто же? Кто?..

Увидев меня, встрепенулся,
приблизился, зубом блеснул,
руки моей робко коснулся
и нежно в глаза заглянул.

И сердце, забыв про морщины,
забилося при виде сего.
Меня замечают мужчины!
Ещё я, видать, ничего.

Как перед мистическим трансом
вскружилась слегка голова...
Но боже, каким диссонансом
его прозвучали слова!

«Ограбили. Мы погорельцы.
Подайте пятак на трамвай».
Замолкни же, глупое сердце,
и варезку не разевай.

Как ты лгал мне, Данте Алигьери!
Как неправ ты был, Аполлинер!
Жизнь груба: обиды и потери,
ей не впрок возвышенный пример.

Но, хотя посулы ваши лживы,
как прекрасно книжное враньё!
Все мы, все мы лишь любовью живы,
даже если гибнем от неё.

В каждом сердце расцветают маки,
а завянут – память оживи.

И пахнёт со строчек на бумаге
предлюбовь, когда она в полшаге,
или послевкусие любви.

Ты на дне рождения – как на дне
себя чувствуешь, если уже за сорок.
И кажется, стали ещё видней
вьюги грядущие, хлад и морок.

Сделай кораблик себе из бумаг.
Ты же любима и любишь, да ведь?
Главное – не сколько тебе, а как.
Главное – было б кому поздравить.

«Когда б не свет луны, – о, я тогда бы...» –
Цветаева на слове осеклась.
А что луна? Она ведь тоже баба.
Кому как ей любви известна сладость.

Она ведь тоже женщина, луна-то.
Кругла лицом, круглы её бока.
И знает, что ни в чём не виновата
Цветаева, и все мы, на века.

Ахматова и Модильяни...
Роман их розами унизан.
А всё ж любила безоглядней
натурщица, шагнув с карниза.

Волошин, мучимый Аморею,
древнеегипетской царицей...
Маруся же спасла от горя
и воздала ему сторицей.

Простые души не умеют
себя облечь в слова и звуки,
и страсти нежной Гименея
вовек не ведая науки,

они мостят собой дороги,
они ночуют в лютых зимах.

Мерило чувств у них – не строки,
а жизни – под ноги любимых.

Не приручится Феникс-птица,
журавль далёкий в небе тонет.
Но где ты, где моя синица,
что льнёт доверчиво к ладони?

Фелиситэ, душа простая,
что знала лишь метлу да вилы,
к груди прижавши попугая,
шептала: «Как же я любила!..»

Сладко плыть под балдахином ночи.
Месяц – словно парусник души.
Утро образумит, обесточит,
обездолит и опустошит.

Пусть луна опять мозги запудрит –
я по снам судьбу свою прочту.
Не сменю на утреннюю мудрость
я ночную глупую мечту.

Как жаль, что нет такой науки,
что изучала бы всерьёз
законы вечных разлуки,
состав невыплаканных слёз,

слепой влюблённости валентность,
душевной чёрствости недуг,
видений чудных мимолётность
и одинокий сердца стук.

По пальцам листья перечти.
В прогалах просинь. Или проседь?
А лета не было почти.
Вслед за весной сразу осень.

Весна цветеньем наврала,
плоды неловко бились оземь.
А лето Лета погребла.
Но у меня в запасе осень.

Всё гадала, всё гадала по ромашке,
а ромашкой оказалась ты сама.
В чём причина, где ошибка, где промашка?
Ранит пальцами холодными зима.

Жизнь трудилась над тобою, обрывая
клочья будущего, словно лепестки.
И стоишь ты на ветру полуживая
с золотою сердцевиною тоски.

Хрустнет под грубой рукою
хрупкое горло цветка...
Помнить годами с тоскою
шёлк на виске завитка.

Тёмные майские ночи,
песню на том берегу
и васильковые очи,
что отцвели на лугу.

Обернулась заурядной пылью
та на крыльях бабочки пыльца.
То, что было сказкой – стало былью,
но всё ждёшь счастливого конца.

Обрастает раковинной жемчуг,
замутились взрытые ключи.
Голос счастья ещё что-то шепчет,
но слова уже не различить.

«Что-то Вам я хотела сказать... Что-то очень хорошее...
Я молилась за Вас...» – сквозь улыбку потупленных глаз.
С каждым годом слова её, письма, звонки всё дороже мне.
В этой светлой душе за пластом открываю я пласт.

Ни корысти, ни злости, ни тени чего-либо плотского,
и глаза – как промыты небесной живою водой.
Некрасивая девочка, выйдя из строк Заболоцкого,
ожила для меня в этой женщине немолодой.

Как доверчиво сердце, открыто бесстрашно, непуганно.
Нераскрытый судьбою и временем смятый бутон...
В некрасивых чертах, искажённых с рожденья недугами,
вижу то, что пленяет на ликах пречистых мадонн.

Не надо приходить на пепелища...

И. Снегова

Не надо приходить на пепелища...
Но я пришла. И пепел ворошу.
Когда-то было здесь моё жилище
и жизнь, не подчинённая грошу.

Во дворик детства прохожу без визы.
Вот здесь был клуб, где раздавался смех.
Здесь мы порой смотрели телевизор,
который далеко был не у всех.

Играли в штандр. Ставили спектакли.
Влюблялись или ссорились навек.
Сейчас уже не вспомнишь – здесь ли? так ли?
стоял так прочно наш двадцатый век.

Мне хочется как следует всмотреться, –
а цел ли мой душевный инвентарь,
не заржавело ль то, что было в сердце,
и так же горячо оно, как встарь?

А в стране воров и богатеев
лишь талант был телом инородным,
где его держали в чёрном теле,
говоря: «в семье не без урода»,

всех мессий с величием их миссий
из статей расхода вычитая.
Здесь всегда выбрасывали бисер,
жёлуди дубов предпочитая.

Вы ушли в подвалы, норы, щели,
чтоб сберечь последнюю свечу

в темноте сторожек и котельных,
не сдаваясь веку-стукачу.

И никто из тех не вышел клеток:
этот – спился, тот – сошёл с ума,
для кого-то – счастье от таблеток
или вовсе посох и сума.

Сгинул мир, никем не защищенный...
А свеча – кому она горит?
Язычком – кому из причащённых
до утра о главном говорит?

Если бы дал мне веру
Тот, кто велик и зряч,
я бы, иные сферы
не беспокоя зря,

только б одно просила,
видя в том благодать:
– Господи, дай мне силы
не получить, а дать.

Я уже давно не строю планов –
даже и на вечер поутру.
Каждый день – единственный и главный,
будто бы сегодня я умру.

И не надо большего презента,
чем в своей душевной глубине
уловить гармонию момента –
взгляда, слова, дерева в окне.

Наугад, вытягивая руки,
ты бредёшь сомнамбулой в ночи.
В выхваченном отсветами круге
ловишь отражение свечи,

по ступеням сновиденных лестниц
тянешься к блуждающей звезде,
смотришь зачарованно на месяц,
на круги, плывущие в воде.

И мечтаешь, чтоб однажды Лик тот
проблеснул хотя бы на лету...
Вечно ждать, когда тебя окликнут,
чтоб сорваться с башни в темноту.

Женщина любила Рафаэля.
Нет, не Санти – пуще всех досад,
а того, чьи песенки все пели
ровно сорок лет тому назад.

И учила ревностно испанский –
не за то, что Лорка им писал,
а за то, что тот любимец дамский
собирал поклонниц полный зал.

Женщина молитвенно взирала
на настенный свой иконостас,
где – его улыбки из журнала,
профили-анфасы напоказ.

По утрам шептала: «С добрым утром!»
Вечером желала добрых снов.
Как бы ухмылялась Камасутра
на пустой судьбы её улов!

Он один – святыня и утеха.
Никаких романов и морок.
Разве что какой-нибудь сантехник
мог переступить её порог.

Сорок лет прошелестели глухо
без семьи, заботы и любви.
И смотрел со стенки на старуху
всё такой же юный визави.

Но однажды южными ветрами
занесло певца на край земли.
По ТВ в Малаховской программе
с Рафаэлем женщину свели.

Писем неотправленная горка,
что теперь могла ему отдать.
Платья старомодного оборка...

Как она рыдала от восторга!
Не поняв, над чем должна рыдать.

Не сотвори себе кумира,
не дай ему в себе убить
хотя бы часть большого мира,
его собой лишь заселить.

Убить свою живую душу,
на это место поместив
воображаемую тушу,
один-единственный мотив?!

Как будет выглядеть убого
твой мир без солнца, радуг, трав.
Не разрушай творенье Бога,
себя же у себя украв!

Взгляни, какая роскошь пира
мелодий, красок впереди!
Не сотвори себе кумира –
не убивай, не укради.

Сколько возможностей в жизни нам жизнью дано,
но, когда мы выбираем в них что-то одно,

все остальные, что нам показались не те –
вмиг обрываются где-то в пустой темноте.

И зарастают травой иные пути –
те, по которым мы тоже могли бы пройти.

Если бы множество их оставалось всегда!
Одновременно везли бы меня поезда

в разные точки невиданной мною земли,
а по волнам бы носили меня корабли,

и в то же время сидела бы я за столом,
пробуя слов золотые свои на излом.

Если бы я раздробилась на множество я,
чтобы для каждого свой был кусок бытия,

жизнь многоцветной бы стала и полной игры,
как золотые шары, расцветали б миры...

Но... если я разбрედусь по тропинке любой,
как же тогда я останусь самой собой?

Если рассыплюсь, как искры большого огня –
как же узнаю, где я, где подобье меня?

В этом сквере я не посторонний.
И, когда я прихожу к нему,
мир дневной – земной, потусторонний,
радуется мне, как своему.

Псы игру любовную затеют,
птицы громче начинают петь,
лавочки заботливо пустеют,
приглашая с книжкой покорпеть.

А деревья в лиственном финале
разостлали предо мною плед.
Видит Бог, они меня узнали!
И махали веточками вслед.

А вот моя любимая скамейка.
Аллейки убегающая змейка.
Три дерева напротив, три осины.
И каждое по-своему красиво.

Одно – огромно, а второе – скромно,
с ещё не прорисованною кроной.
А третье – с чётким абрисом скелета,
застыв в витке смертельного балета.

Жизнь человека: юность, зрелость, старость.
Скажите, сколько мне ещё осталось?
Три дерева покачивает ветер.
И каждое по-своему ответит.

Небо серо-жемчужное
падает на дома,
затушевав всё чуждое,
пряча его в туман.

Может быть, это чудится?
Наколдовал шаман?
Нет ни людей, ни улицы,
только туман, туман.

Происки ли Всевышнего,
что опустил рукав,
затушевав всё лишнее,
в вату упаковав?

Всматриваться, улавливать,
одолевая сны, —
может быть, что-то главное
выйдет из пелены?

Может быть, даль прояснится
где-то у той черты,
сквозь негатив проявятся
будущего черты.

Зов небесный по-птичьему протяжен,
легковее, как пух тополей.
Но набухшая тёмная тяжесть
тянет голос крылатый к земле,

гимн весенний ликующей жизни
обращая со временем в плач.
Бог посмотрит в немой укорище
и уйдёт, завернувшись в плащ.

О мираж, безымянность, бездомность
наших нищих потерянных душ!
Ослепительной сини бездонность,
отрезвляющий холода душ.

И мысль от смерти отвлеку.

А. Кушнер

Дышать запретной тьмою вполдуши,
чтоб не понять чуть большего, чем нужно, –
как призраки шевелятся в тиши,
и бездна разевает рот радушно.

Грядущее, попозже, не теперь!
Дверь-западня. Моё дыханье часто.
Во мгле таится будущего зверь
и выжидает рокового часа.

Оно ещё не видимо уму,
но покрывает тело липкой дрожью.
О, не спугни неведомую тьму.
Ходи, дыши и думай осторожно.

Холод нападает на тепло,
где-то затаившееся в клетках.
Тучами луну заволокло.
Бесполезно сон искать в таблетках.

Тьма и нежить улицы ночной.
Выхожу одна я на дорогу.
Вьюги хвост, как ящерки ручной,
вьётся и змеится у порога.

Кто со мною – ангел или бес?
Мир метельный, мертвенный, смертельный.
Как ни затыкаю щели бездн –
холодок струится запредельный.

Вьюги завивается петля.
Кажется, что кем-то я заклята.
Сиротеет волглая земля,
ёжась без небесного пригляда.

Ветер – создатель метельных мелодий,
тёмная зимняя виолончель...
Кто-то меня за собою уводит,
как крысолов, в поднебесную щель.

Я отравилась чарующим слогом
горького сна, ледяного питья.
В воздухе веет Ивановым, Блоком,
чёрною музыкой небытия.

Борис Рыжий

Мир свердловской окраины.
Подворотни, кенты.
Было сердце изранено,
несмотря на понты.

Иудейская нация.
Мусора, кореши...
За блатной интонацией –
беззащитность души.

Не тюрьма, не котельная,
не в терновом венце,
но пугала смертельная
тень на юном лице.

Никакой совместимости –
лучше пропасть во ржи!
И не надо красоты,
вашей фальши и лжи.

Нет, не словочеркание, –
грусть, берёзка, ветла, –
было самосжигание,
так по-русски, дотла!

Что-то жаркое, жалкое
мне уснуть не даёт.
Скверы, арки и ангелы
помнят имя твоё.

От накликаемой гибели –
до небесных верхов...
Я не знаю пронзительней
и большее стихов.

Свалки, урки плечистые,
дым ночей воровских,

а над всем этим – чистая
литургия тоски.

Песнь разлуки и горести,
просветления пир...
И печальнее повести
не знавал и Шекспир.

Алкоголик, юродивый,
ну зачем, на фига?!
Но осталась мелодия
на века, на века.

Жизнь стоит над душой – отвяжись!
Полегчало, Вертер?
Дважды два четыре – не жизнь,
а начало смерти.

Быть да сплыть. Была – не была.
Не дойдя до ринга,
я смахну её со стола,
как стиха соринку.

Живу на волоске, на честном слове,
в пяти минутах от небытия,
выискивая в жизненном улове
то, от чего могу продлиться я.

Вот милый голос и плечо родное,
нечаянная надоба во мне...
Иное наплывает на земное.
Судёнышко хозяйственного Ноя
качается на призрачной волне.

Все мы волки дремучего леса,
куда тайная сила влечёт.
Не удержит дверная завеса,
и подначки лукавого беса
все известны мне наперечёт.

Обернётся голгофою крестной
тёплый дом и резной полисад.
Манит гибелью тёмная бездна.
Не кормите меня, бесполезно,
всё равно убегу в небеса.

Не жизнь – не смерть, ни недруга – ни друга.
Качается над пропастью канат.
Как вырваться из замкнутого круга,
сломать систему тех координат?

Как жить, чтоб жизнь не обернулась в небыль,
не потеряться в омуте потерь?
Сойти бы с рельсов, выжечь дырку в небе,
уйти бы в нарисованную дверь.

По звёздной лестнице в чёрную высь
взберётся невидимый лётчик,
с собой унося сокровенную мысль –
дрожащий живой огонёчек.

Отныне он там, по ту сторону лет,
но глаз от земли не отводит.
Как долго доходит до нас его свет.
Но главное – всё же доходит.

Слишком много правды – это больно.
Я устала от её лица.
От её речей остроугольных,
от её тернового венца.

Пальцы ослабели и разжаться
могут от холодного свинца.
Хоть немного лжи – чтоб подержаться.
Чтобы продержаться до конца.

Я радости рашу из бед.
Я притворяюсь. Претворяюсь
в то, из чего растёт рассвет,
внушив себе на старость лет,
что кроме тьмы ещё заря есть.

Мне вдруг понравился овал.
Я примиряюсь. Примеряюсь
к тому, что Бог не целовал,
процеживая слов обвал,
их беззащитную корявость.

Я об одном судьбу молю:
не стать притворной и придворной,
в итоге низведя к нулю
всё, что любила и люблю,
смирив жизни норы вздорный.

Мне кажется, я живу в маяке,
где зажигаю огонь,
чтобы корабль, что плывёт вдалеке,
не канул меж берегов.

Чтобы однажды один из ста
мой увидал бы свет,
чтобы доплыл, уцелел, пристал...
Но никого нет.

Если взялся за гуж – что с того, что не джуж,
должен вынести ношу двуногих.
Я пишу эти строки по адресу душ,
для таких же существ одиноких.

Ни к каким себя группам не отношу,
что на ниточках – марионетки.
Я на нитке другой над обрывом вишу –
Ариадниной тоненькой нитке.

Утро

Ещё совсем свежо и рано.
По смутным улицам спешить...
Ночные затянулись раны,
и кажется, что можно жить.

Как сердцу хочется порядка
взамен расхристанной тоски.

Жизнь – как раскрытая тетрадка
без недописанной строки.

Что допишу? И что умножу?
Чем усмирю кипенье дней?
Держу отчаянно, стреножу
летающих к пропасти коней.

А эта боль даётся напоследок,
чтоб было легче нам оставить мир
и в нём судьбы своей застывший слепок,
огнём искристым вспыхнувшей на миг.

Чтоб смерть была не горем отлученья,
не клоком, выдираемым из жил,
а облаком нездешнего свеченья
и облегченья, что уже не жив.

И нависло звёздную улыбкой,
дымчатой, игольчатой и зыбкой,
надо мною прошлое моё.
Птичьим кликом оглашая дали,
нажимая враз на все педали,
бытиё ушло в небытиё.

Время листопада, звездопада.
Ропщет роща посреди распада,
но ветра берут её в кольцо.
Я стою одна как на ладони,
больше не спасаясь от погони,
подставляя холоду лицо.

Когда наступает осень –
тепла отступает власть.
– Как жизнь? – при встрече он спросит.
– Спасибо. Не задалась.

Как стук отдалённой трости –
всё ближе грома стихий.
– Как жизнь? – однажды Он спросит. –
И я предьявлю стихи.